

Прозрачная пропасть

Повесть

МАРИКА СИДЕЛА на песке у озера, обжигала ноги зеленой застоявшейся водой, ловила кожей стрекоз. Мама бегала по побережью, звала ее, потеряла к обеду. Сизые рыбы смотрели на маму из воды. Мама собирает волосы в узел, готовит суп. Мама есть, а Марики нет. Искала, искала, не нашла.

Марика лезла по золотому стволу березы, собирала яблоки, пускала по руке муравья. Она играет, зарывает в песок ногти, по ночам целуется с принцем.

— Я тебе не расскажу свою сказку, она слишком страшная, ты не заснешь, ты проснешься от своего крика. Ты убьешь себя рано или поздно. Ты убьешь себя этим. И кто-то лезет на чердак по скрипучей лестнице, с улыбкой заглядывает в форточку. Видна только голова, белые волосы, как у брата Яна, маленький ребенок, брат Ян лезет в форточку и на чердак. Проказник.

Папа мечтал, как всегда, мечтал еще давно стать военным. Так и не стал. А за окном был са-

лют, редела корова, рядом город, слышно, как там шумят заводы.

Мама волновалась, нашла Марику в траве, спящую, принесла домой. Марика так и не проснулась после этого. Ян дергал ее за волосы, дышал в ухо, тыкал пальцем в живот. Она не орала, не смеялась, не визжала.

Мама, причитая, гоняла по двору куриц, они разбегались в разные стороны, роняли перья.

— Ничего тут не скажешь, дорогой мой. Веселая птичка устает летать быстрее.

Она, наконец, поймала белую курочку и понесла в дом. Бегала по кухне, кудахтала, брызгала перышками, роняла стулья. Папа встал, унес спящую Марику в другую комнату, вернулся с веревкой, связал курице ноги. Мама всхлинула и увела Яна. Потом пошел дождь. Мама сидела на стуле у подоконника, подперев рукой щеку, и смотрела в окно. Ручейки воды отражались у нее на лице дрожащей тенью.

— Затопит всю картошку, — вздохнула мама.

— Ты молодец, что решился. Ты очень смелый мальчик. Только никогда, никогда больше не уходи за мыс. Там черти живут.

Ян катил по столу игрушечный грузовик.

— Мам..!

Но мама не откликалась. Она все сидела и сидела у подоконника. Положила голову на сложенные руки.

— Мамочка...

Ян гулял по коридору. Тетя Марта несла таз с морковкой, шлепала сандалиями по полу и что есть силы кричала кому-то в открытую дверь:

— Надорвется мать!

Из светлого проема двери вилась цветастая занавеска. Тяжело возвращаться. Дотянись до выключателя, попробуй. Ты еще очень маленький. На ужин ели ту курочку с яблоками. Только и слышно было, как стучали вилки и ножи о фарфор, а из комнаты Марики будто доносилась тихая музыка. Ян не понимал, не связывал нежную кашницу у себя во рту и веселую белую курочку. Он думал, она исчезла, превратилась в облачко.

— Когда Марика проснется?

— А ты не читал сказку про спящую красавицу? Когда превратится в прекрасную девушку и найдется принц, который разбудит ее поцелуем.

— А когда это будет?

— Когда-нибудь... — уклончиво ответил отец и закурил трубку. Лицо у него было, будто он съел лимон.

Ночью Яну все казалось, будто кто-то стучит в окно, он плакал, плакал, пока мама не открыла стеклянные створки и не показала сухую ветку черемухи, бившуюся от ветра.

— Спи теперь, — сказала она и выключила свет.

В темноте все стало темно-фиолетовым или синим, зашевелилось, зашептало. Ян зажмурился и вдавил голову в подушку. Ему все казалось, будто из комнаты сестры льется и льется тихая музыка.

Дождь затянулся, превратился из восторженного душа в сиплую ненужную канитель. Папа, ругаясь, выкатил из-под почерневшего от влаги навеса свой зеленый мотоциклет с коляской и долго курил на крыльце, хмурый, невыспавшийся, ждал, пока мама соберет вещи Яна и напоит его молоком. А потом они долго ехали по дороге вдоль поля, разбрызгивая грязь, между разбухших мокрых сосен, взбивая пеной желтую хвою. Ян ничего не спрашивал, даже не плакал, сидел, вцепившись ручонками в вязаную сумку, в которую мама уложила теплый свитер, смену белья и пирожки в пакете. Папина спина казалась невероятно огромной, будто скала, за ней не было страшно. И мысли, что раньше роились и танцевали у него в голове, теперь тоже затихли, вымокли, посерели. Молчал Ян снаружи, молчал внутри. Только одна мысль пульсировала искристой ленточкой, не в голове даже, а в самом сердце. Как он будет расти, расти, вырастет большим, как папа, найдет самого

лучшего принца в мире и приведет в сестринскую комнату. Он прямо видел это перед глазами: плотные оранжевые шторы, зимний свет сквозь них, скрипучий пол, прикроватный беленький коврик, мягая постель, а на ней — Марика, убранная ленточками, тоже большая, спокойная, златовласая в теплом безмятежном сне. И он попросит принца поцеловать ее, а сам выйдет из комнаты, будет стоять у приоткрытой двери, а потом вдруг белый, серебряный свет польется из комнаты, они выйдут под руку, Марика, живая, веселая, возьмет его за руку, и они пойдут втроем за мыс, на теплые камни, поросшие мхом, и будут долго-долго сидеть там, рядышком, и смотреть на сверкающее море.

Только вот бабушка выбежала на крыльцо встречать их почему-то с плачем, не как обычно, ее лицо покрывали соленые дождинки, она понесла его, легко-легко, в самую дальнюю комнату, посадила на кровать, дала машинку и быстро ушла.

Я маленький, маленький, я шпилькой выпал из бабушкиной прически, меня унес рыжий муравей, я заблудился в волшебном саду. Я мальчик, девочка, глиняная дудочка. У меня нет человеческих друзей, таких живых, с веснушками, опасных. Есть собака Найда, солдатик без ноги, деревянный меч и мамино сито вместо щита. Берегись, враг!

Я сегодня не я, не Ян, стою в вихре песка посреди двора, и плащ мой бьется от ветра.

Я большой, большой, я пресвященный. Я пророк Исаяя.

Ян прикрыл рукой левый глаз и посмотрел на солнце, внезапно вспыхнувшее прожектором из черной тучи. Все вокруг теперь сверкало в этом солнце, рябило глаза дождевыми слезами.

— Ты плачешь? Ты не плачь. Я тебе найду твое спасенье, нужно только подождать. Тебе легко ждать, тепло, сухо. Ты только спишь и все. А я расту и буду расти, расти, сквозь облака, выше гор, сосен, папы. И буду драться со львом, приручать орла.

Папа громко хлопал мотоциклом, дрыгал ногой и ругался. Он решил оставить Яна бабушке.

— Навсегда? — Ян смотрел на папу и ему опять казалось, будто папина голова терялась внутри неба.

— Ну нет, конечно.

— А Марика? Пап! А Марика?

— Слушайся бабушку, она очень, очень старая. Ужасно старая у тебя бабушка.

— А почему ты не взял Марику? Я бы играл с ней здесь, даже со спящей. Слышишь, а?

Но папа еще раз дрыгнул ногой и рванул по дороге, обдав Яна удушливым дымом.

— Папа! Ну подожди! Подожди!

Ян бежал за ним долго-долго, изо всех сил стараясь перекричать шум мотора, все спрашивал про Марику. Но папа на своем мотоцикле быстро обогнал его и вскоре превратился в маленькое дымное пятнышко на горизонте. Ян остановился, провел загорелым запястьем по высохшим губам и вспомнил вдруг, что он ребенок, что ему можно вдруг заплакать. Тер кулаками глаза до боли, до мурашек, вспышек, звезд, нитяных салютов.

Высоко подхватив юбки, к нему медленно бежала бабушка.

— Она ужасно старая, а может меня поднять и нести. Значит, я не вырос, я легкий и маленький. Даже для бабушки я не тяжелее чайника.

— Бабушка, я не тяжелый?

— Легче перышка.

— Какой ужас...

Бабушка умела хохотать лучше всех в мире. Она не издавала при этом никаких звуков, только тряслась всем телом, и многочисленные стеклянные бусы на ее полной шее трещали и звенели на разные лады.

Сейчас бабушка тоже смеялась, она даже поставила Яна обратно на землю, чтобы он не мешал. Она смеялась, а потом вдруг заплакала, так горько, навзрыд, и лицо у нее тоже стало такое, будто бы она съела лимон.

— Сиротка ты моя, не понимаешь ничего, цыпленок, ой-ой-ой, — причитала бабушка, прижав голову Яна к своему ситцевому животу.

Нарисовала тебе во сне кентавра в бабушкиных бусах. С твоими совсем кудряшками, улыбкой до ушей. Милый брат, скажи, не улетели ли скворцы с нашего дерева? Мне ужасно интересно.

Пришла к тебе в сон герцогиней, облаком.

Бабушка стояла на крыльце, обнимала сухой рукой собаку Найду за мохнатую шею и заглядывала за луну, сквозь зубчатый лесной горизонт. По щекам у нее опять катились густые, прозрачные слезы.

Там, за луной, на другой стороне неба танцевала ее внучка, юркая, тоненькая Марика, наряженная, как цыганка. Хохотала, двигала животиком, трясла юбками, выкрикивала «оп! оп!»,

запрокидывала голову, выставив острый подбородок.

А бабушка смотрела на нее, в солнечном луче, в дымке воспоминания, и все сильнее сжимала пальцами мягкую собачью шерсть. Найда тяжело дышала, дрыгала хвостом.

Было жарко, Ян скинул одеяло. Не вспомнил ни маму, ни папу, не спал, не мечтал. Просто лежал на большой кровати, вытянув руки и ноги, светился в темноте фосфором молодой, эластичной кожи.

— Сколько можно ждать, это невыносимо, невыносимо долго. Ждать, ждать. Ты лежишь где-то в далеком гнезде, за лесом, за полем, тяжело дышишь или не дышишь вовсе. Тебя нашла огромная серая птица, подняла выше солнца, напоила своим молоком. Это невозможно почувствовать, тебя невозможно почувствовать.

Зачем ты тогда вообще существуешь, если перестала жить, двигаться? Почему ты не исчезнешь отовсюду, из моей головы, не растворишься облачком?

Герцогиня, сестра, бабочка.

Я вырасту, вырасту. Я сделаю все как нужно.

Ян вспомнил мамины слова. Когда чего-то очень-очень хочешь, нужно молиться Богу. Она так часто говорила это, что Ян запомнил. Бог, Бог. Перечеловек. Если никто не может помочь, даже время, даже мама, никто не делает его сильным, умным, большим, значит, нужно просить Бога.

Ян встал с кровати и тихо-тихо пошел по темному дому, не касаясь скрипучего пола, не открывая тяжелых дверей, парил, как привидение, как звук, как солнечный зайчик. На бабушкиной кровати никого не лежало, только кот ходил кругами по теплому ковру и глухо стучали часы.

— Ты чего гуляешь? — спросил вдруг из-за спины бабушкин голос. Ян было испугался, вжал голову в плечи, вспомнились ее звонкие затрещины. Но бабушка даже не ругала его. Только вздохнула и сгребла его в охапку, в складки огромной ночной рубашки.

Редко бывает так, что взрослые делают как надо.

— Бабушка, а как молиться? — глухо спросил Ян.

Но она молчала только, всхлипывала, тербила его кудряшки привычными ко всему смуглыми пальцами.

— Просто проси, и все. Как хочешь, как получается.

- А услышит?
- Услышит.
- Даже если шепотом?

На утро Ян решил, что станет папой. Он скрутил травинку, сунул в зубы и, степенно по-пыхивая, вывел из сарайчика свой красный трехколесный велосипед, посадил в корзинку перед рулем деревянного солдатика и покатил по дороге, разговаривая то писклявым голосом за солдатика, то папиным, настоящим.

- А куда мы едем? — спрашивал солдатик.
- Искать принца, — отвечал папа.
- Где мы будем его искать?

Ян не знал, что ответить, наверное, во ржи, там, между стогов.. Или за озером, в озере, в зеленой воде, на верхушках сосен.. В клюве ли у птицы?

— Дорогой Бог, я прошу тебя сделать меня взрослым, высоким, даже великаном, чтобы перерасти это поле и с высоты увидеть принца. Наверное, он спит в каком-нибудь стогу и, вероятно, тоже маленький, потому что я не могу его отыскать. Тогда сделай, пожалуйста, заодно большим и его, ведь двум великанам легче встретиться в поле, чем двум муравьям, — задыхаясь, кричал Ян, быстро-быстро крутя педали велосипеда. Солдатик в корзинке подпрыгивал, деревянно стуча, но Ян забыл про солдатика. Ветер свистел у него в ушах, он не слышал того, что кричал, все тонуло в этом ветре и волнах ржи и деревьев. В лицо летел песок, какие-то мертвые букашки.

— Чем быстрее я буду ехать, тем быстрее я доберусь до цели, — думал Ян, хотя цель ему не представлялась материальной, была такой абстрактной, принц этот — чей-то дымчатый силуэт.

В конце концов, его вынудил остановиться гвоздь на дороге. Проткнул шину, и ни туда ни сюда. Ян сел рядом, сунул в зубы новую травинку и задумался. Ветер будто отыскивал что-то в траве, какую-то жемчужину, взбивал облака, как подушки, чернил облака, как холсты. Будто все поле, весь мир скакал за Яном следом и теперь не смог остановиться.

- Ураган, — сказал Ян.
- Я боюсь! — пропищал солдатик.
- Тебя не сдует, я привяжу тебя!

Он вытащил шнурок из ботинка и привязал солдатика к животу. Потом попробовал надуть шину или вовсе обойтись без нее. Плюнул, как папа, выругался каким-то дрянным словом, зажал рот ладошкой, хихикнул и ринулся в колышущееся покрывало ржи, как в воронку. Из-под

подошв со стрекотом разлетались кузнечики, тыкались в грудь испуганные медведки, слепили красными брюшками и громко жужжа, зигзагами, улетали ввысь, под мокрые тугие облака, в косой солнечный луч.

Идти было сложно, не видно куда. Ян путался, спотыкался, задирает голову, но кроме неба ничего не видел.

— Я не уходил за мыс. Только за мысом страшно. А я не за мысом, я вообще в другой стороне.

— И к тому же не ночь, — добавил солдатик.

— Да, днем не страшно. Страшно ночью, страшно на мысе, страшно на высоком дереве.

— Марики страшно?

— Не говори глупостей! Ей не может быть страшно, она, где дом, где мама. Лежит, и все.

— Ты раньше говорил, что ее унесла птица.

— Не говорил!

— Говорил! Она умерла, вот и все! Умерла сама, а тебя обманула! — закричал солдатик.

— Замолчи, замолчи! — Ян силой отвязал его и швырнул на землю. — Пусть тебя унесет ветром в ущелье! Пусть тебя съедят мыши!

— Ты даже не знаешь, что такое умереть! Ты глупый, глупый маленький ребенок!

Из глаз Яна хлынули слезы, злые-презлые, и он, что есть силы, ударил по солдатику ботинком, разбил его в щепки, в клочки.

— Большой! Я большой! Большо-о-ой! — кричал Ян, топал ногами, катался в пыли. В волосы ему набилась солома и внезапный приступ тоски, небывалой раньше, бесконечной, как поле, вдруг навалился, силой прижал к земле, готовый тоже ударить его ботинком, разбить в щепки. Ян лежал, уткнувшись лицом в землю, и молчал. По спине ему ездил холодными утюгами ветер, а в ушах звенел, звенел сестрин голос и ее быстрее мелкие шажки и шуршание ее тонкого платья.

— Ты как жучок, не найти тебя! — она тронула Яна за спину, подняла его голову легкими ладошками. И он увидел ее лицо, узорчатые тени от травы на прозрачной коже, веснушки, маленькие темные ноздри, смеющийся рот. Ветер лез в глаза сухой травой. Ян зажмурился.

— Эй! Смотри! — Марика достала из кармашка мамыны темные очки. — Смотри, я — стрекоза! Шр-шр-шр!

Она нацепила очки на нос и закружилась, затанцевала вокруг.

— Ты что, проснулась?

— Нет. Просто перенеслась вдруг к тебе. Я прилетела. Я же стрекоза.

— Много прошло дней?
— Сотни, сотни. Ты уже умеешь считать?
— Умею. Сотни — это много.

Марика сняла очки и уселась рядом.

— Ты поумнел. Ты вырос.
— Вырос? Правда? — обрадовался Ян.
— Совершенно правда. Стал, как дом!

Ян вскочил на ноги и тоже вдруг закружил-ся, затанцевал вокруг нее, размахивая руками.

— Я искал тебе принца, чтобы расколдовать тебя. Папа сказал — ты стала спящей красавицей, на тебе чары и только я смогу их развеять! — кричал Ян. Марика смеялась.

— Красавица! Красавица! — кричала Марика.

— Папа сказал! Папа сказал! — кричал Ян.

Они кружились в золотой воронке, держась за руки, и кричали, кричали, а солнечный луч все не закрывали темные, тяжелые тучи, он будто окаменел, он всегда будет светить только на них, двоих.

Кажется, Ян спал. Или умер на секундочку. У него закружилась голова, он упал в мягкое, закрыл глаза. А когда открыл — никого-никого вокруг не было, ни очков, ни криков, ни солнечного луча. На лицо летели огромные бесформенные капли дождя, разбивались о кожу на сотни маленьких брызг и навсегда исчезали вокруг. Только разбитый солдатик и коричневый шнурок от ботинка, расплющенный на земле мокрым червячком.

Ян встал, отряхнулся и побрел куда-то наискосок.

Очень медленно, как-то даже коричнево, Ян любил представлять временные отрезки в цвете, тянулось лето. Кто-то может подумает, что он не радовался совсем, только тосковал о том времени, когда не был один в своем детстве на протяжении сотен километров, в окружении смуглых, громких взрослых и бескрайних полей, лесов с одной стороны и моря с другой. Он радовался, радовался всему, как это присуще детям. Рассекал ржаные волны на фанерных лайнерах, героически дрался с нематериальными врагами, пел с бабушкой тягучие старинные песни своим тонким высоким голосом. Но только по вечерам, когда в узкую щелочку между полом и дверью пробивалась желтая полоска света, а все вокруг было фиолетовым, синим, лазурным, он лежал без сна, в бреду, жару фантазий, прорубал светящимся лучом время, тянул его за хвост, как неведомое чудище, как невиданную кинолентку, мотал взад и вперед мгновения и сонно улыбался. Только по ночам,

в снах, он по-детски неосознанно признавался в своей первой и единственной любви Марике, которая исчезла из любой жизни на этой земле, кроме его, Яна, жизни. Она иногда приходила, каким-то волшебством просачивалась сквозь тоненькую полосочку света между полом и дверью и бесшумно танцевала на крашенном полу. А Ян смотрел, приподнявшись на локте, и тихонько подпевал или отбивал ритм ладонью по спинке кровати. Держал ее ладонь в своей, маленькой, потной ладошке, и обещал разбудить ее, снять неведомые чары. И никому-никому не говорил об этом.

Но однажды, когда Ян лежал под большим деревом, раскинув руки и ноги и часто-часто дышал после марафона, соревнования с самим собой, когда он бежал многие мили просто ради бега, а потом бросался на траву и долго-долго дышал, наслаждался покоем тела и небом над головой. Однажды, когда Ян лежал и смотрел, как сквозь зеленую крону дерева сочится солнечный свет, он увидел, как откуда-то сверху медленно летит желтый лист, крутится волчком в порыве ветра и наконец ложится на его грудь. Ян взял лист в руки и положил на свой левый глаз. И весь мир вдруг оказался желтым, словно накрытым папиросной бумагой, с тонкими прожилками и крапинками зеленого.

— Осень, — сказал Ян.

В этот же день бабушка нарядилась в широкое красное платье, взяла Яна за руку и повела.

— Куда мы идем?

— Ты знаешь, приходит осень, а что это значит?

— Что это значит?

— Это значит, мой милый, что тебе пора в школу.

— Ой! — об этом Ян не подумал. Он начал было всхлипать, но потом решил, что это не нужно. — Мы сейчас идем в школу?

— О, нет, пока рановато, — бабушка рассмеялась, — мы идем купить тебе красивый ранец и тетради.

— Хорошо, — Ян привык со всем соглашаться. Он ничего не имел против красивого ранца и тетрадей.

Он навсегда запомнил эту белую девочку с заснеженной косой, заткнутой за поясок платья. Девочка была с мамой, Ян сразу подумал, что эта мама сама ее слепила прошлой зимой из свежего снега. Он зажмурил глаза и поклялся, что никогда больше не будет смотреть на эту девочку, чтобы она не растаяла. Или чтобы не раста-

ял он сам. Такой поддающийся красоте, он стоял рядом с бабушкой во дворе школы, большой, темно-синей. И крыша ее терялась в облаках. А рядом бегали непокорные вихрастые мальчишки, и цветы у них в руках поломались, разливая по кулачкам зеленое молоко. И родители будто этого не замечали. Все их мамы были почти одинаковые, от всех пахло пудрой, увядшим летом, потом, жарой, а руки, плохо отмытые от земли, шепуршали листками. Все их папы курили и ждали, когда можно будет наконец отойти в тень.

Только одна эта девочка была непохожей на всех. Ее ничто не волновало, не беспокоило. И голова ее от тяжести длинной косы была чуть наклонена вбок.

И Ян, пропуская мимо ушей наставления бабушки, первое слово учителей и директора, думал про нее так сильно, что заболела голова. Он назвал ее Анитой, больше никакое имя ей не подходило, только это, меховое, как подснежник, имя, и, наверное, они подружились бы с Мариной и сидели бы рядом, обе такие красивые, ах, если бы она тоже была бы его сестрой, тогда и тоска, может быть, не так била его по сердцу, тогда тоска не была бы сообщницей одиночества, а была бы просто тоской. Светлой грустью, ломкой соломинкой.

Он не заметил, как вместе со стайкой ребят вошел в полукруглый класс и конечно же не услышал, как учительница сказала бабушке в дверях:

— Мне жаль, но ему будет тяжело в коллективе.

Но бабушка только презрительно повела своей молодой бровью:

— Не думаю.

Ян не плакал, когда его заставили расстаться с бабушкой, как другие дети, особенно девочки, и бабушку это успокоило. Она медленно пошла к остановке, вспоминая, как вела в эту же школу за руку маленькую Марику, и почему-то больнее всего вспоминался ровный пробор и гладкие, как поверхность фортепиано, волосы.

Начались уроки, и Ян впервые услышал шум автомобилей на пыльной дороге прямо под окном, впервые столкнулся так близко со сворой по сути чужих и враждебно настроенных детей. Когда-то давно-давно ему в память врезалась фраза, сказанная кем-то из взрослых:

— Дети жестоки.

И сейчас он ждал этой жестокости, ее воплощения, ее дыхания, двигался по школьным коридорам плавно и медленно, как охотник, или, скорее, как лисица, понимавшая, что где-то ря-

дом опасность. И еще интереснее, чем то, что говорила учительница, было выражение ее лица, хаотично двигавшийся большой, неровно накрашенный рот, и след помады на белой кружке, оставленный ею, и муха, ползавшая по еще чуть влажному ободку фарфора. Иногда время будто застывало на месте, и мальчик, замахнувшись, медленно что-то кидал, комок намочшей бумаги, и он летел, летел, летел, и смех, сливаясь, превращался в рев, а Ян не понимал, зачем нужны слова и действия, если можно прекрасно обойтись созерцанием и при желании находить во всем что-то, достойное улыбки или слез. И в шею его больно ударялась бумажная пуля, и он представлял, что умер и что Анита с красным крестиком на груди бежит к нему и кричит:

— Генерал! Генерал!

А потом была тишина, лесной дождь, перепалка птиц, и снова голубой школьный автобус ехал в сторону города, а он сидел на заднем сиденье, приплюснув нос к стеклу, и думал, что это будет длиться вечно и вечно.

И домой, к маме и папе, не пускали, да еще по вечерам нужно было учить уроки, под неусыпным надзором бабушки выводить в тетрадке буквы, читать вслух, зачем-то перебирать счетные палочки из матовой пластмассы, сидеть за большим дедовским столом под лампой с красным абажуром и, когда бабушка уходила куда-то, упиваться закомьем, где в сумерках дождем бродит осень и Найда бегаёт по размокшему двору и лаёт, лаёт, лаёт...

Не пускали к маме, не пускали гулять на улицу из-за холода, и оставалось только разглядывать стены, протыкая обои в промежутках между бревнами, или так, для виду елозить деревянным грузовиком по ковру, поджав голые колени, и думать обо всем, что переменялось и меняется еще с неумолимой быстротой. И про тоску, что невидимым червячком грызла грудь, про тикающие в темноте часы, про ушедшее жаркое лето и про солдатика, лучшего друга, которого так ужасно предали на поле битвы...

И уже в кровати, в полусне, в ритм со стрелками часов маршировали по кругу ребята из школы, учителя и дворники, прохожие, собаки, а в центре этого круга стояла Анита, Звездглазка, почему-то с горящей спичкой в руке и считала:

«One, doux, trois, quatre, cinq...» Он засыпал, путая свой пульс с пульсом часов, и боялся, что эта длинная мокрая осень так и будет тянуться всю жизнь.

В темном переулке, где, наверное, сейчас дрожит собачка, туда я приду и увижу тебя, в

мечтах моих. Собачку взять бабушка не разрешит — у нас уже есть одна, и эта, ненужная, умрет от осени, от дождя. И на это снова моя вина. А про тебя бабушка не узнает, ты по моему желанию превратишься в звездочку, заглянешь в окно, когда я буду засыпать.

Я стою в темном переулке, от ранца в драке оторвалась ляжка, он волочится по земле. Я стою на земле, земля покрыта инеем, кажется, я тоже весь замерз. Если бы ты могла только утешить меня. Ох, эта школа, эти злые мальчики, у всех в глазах иголки, в ладонях тяжелые медяки, а у меня синяки. Я слишком мягок, чтобы жить, Марика. Мне, наверное, суждено умереть здесь. Твоя ли в этом вина?

И ты сейчас придешь сюда, выйдешь из арки, ты, а не свора мальчишек, даже не свора собак, не стая птиц из верхних окон. Куда они летят? Улететь бы с ними. Пересчитывает мне ребрышки. Школа — это пережить ад. А я маленький, летний ребенок. Летний, и больше никакой.

И никому не рассказать, кроме тебя, я не хочу. Бабушка сразу побежит к директору, а потом мне вообще смерть. А папа говорит — надо становиться мужчиной. А мама плачет, она вообще теперь мало говорит. Так внезапно стало плохо, ты же знаешь, я не люблю чужих лиц, чужих запахов. Слишком много тяжелого, большого и все это как будто мне на пользу.

И ты не придешь ко мне больше в легком платье, хотя было бы здорово смотреть, как ты дрожишь, и по твоей коже бегут мурашки. Знаешь, я хожу по школе, заглядываю в лица, особенно мальчикам из старших классов. Кто из них мог бы быть твоим принцем, таким великодушным? И вот еще, я придумал, я не хочу, чтобы этот принц держал тебя за руку. Один поцелуй еще можно стерпеть, а за руку — нет. Никто не посмеет. Надо найти того, кто бы все понял, поцеловал бы тебя и сразу исчез навсегда. Я хочу потом быть с тобой один, гулять в вечном лете.

И вот однажды, наверное, Бог увидел Яна, как он шел из школы, увидел маленькой точкой, на краю земли, на краю дороги, Бог услышал его шаги по размякшей, разваливающейся почве, шелест желтых камышей с отсыревшими до черноты листьями и его полусшепот-полукрик, и чье-то имя, и песни. Он увидел, услышал и послал ему сверху, наверное, знак или просто решил, что пора.

Ян шел, заплетаясь в собственных ногах, отбивая шаги по карману куртки, уставившись в какую-то аж синюю от влаги землю. И тут будто

бы невидимый, огромный палец стукнул его по подбородку, заставив резко и высоко задрать голову в небо. Оттуда комьями, шарами, блюдцами, сладкой ватой, лебяжьим пухом летел снег. Тонны снега. Все вдруг сузилось, сжалось, все можно было окинуть взглядом, все облилось молоком, все превратилось в сказку, в перламутровую шкатулку с песнями. И Ян подпрыгнул, закричал и пустился бегом что есть силы, понесся стрелой в эту манну небесную. Ян, а не Кай, Ян был зацелован внезапной зимой до изнеможения, изнежен до полусмерти, так, что перестал говорить на несколько дней, так, что заболел и долго лежал в большой бабушкиной кровати, укрытый до подбородка с распахнутыми восторженными глазами. Лежал, молчал и улыбался.

За стенами натянутыми резинками трепыхались птицы, кружились — белое по белому небу, и ничего не менялось, Ян жил как в стакане молока это время, белые окна, двери, белая постель, измятая, заерзанная горячим тельцем, какая-то безвкусная еда, капли в уголках рта, застрявшие между зубами апельсиновые волокна, бесчувственный шершавый язык, белые тетрадки, полоски света сквозь решетчатые ставни, бабушка с ружьем, в старой лохматой безрукавке, гоняла ворон в саду, кружились стрелки. Когда кто-то заходил в его комнату, папа или мама, скрипел пол, и Ян не рад был гостям, пленник одиночества, он купался в тишине и снежной, тающей неге болезни. От мамы пахло холодом и одновременно печью, посудой и теперь чем-то новым, она все чаще улыбалась, приносила ему книжки из дома, забытых солдатиков, но уже других, уже всех с двумя ногами, уже не родных, не приятных. Ян благодарно улыбался и скидывал все подальше, в коробку, под кровать, чтобы не видеть того, что прежде было им, его домом.

А у меня нет теперь дома, нет приюта. Я сам околдовал себя своими мыслями. Врач сказал, что я обезвожен. Я обезвожен и обездолен. В меня ничего не лезет, но как я легок, как воздушен. Мне кажется, вот-вот взлечу в небо, и кровать, как каравелла, вслед за мной, и одеяло раздуется пузырем и снег набьется в рот и глаза, и станет так спасительно холодно, тихо, светло, белым-бело.

Иногда как иголкой — в память вкалывалось что-то безбожно яркое — шмель, шершавое животное на маковом цветке, быющее откуда-то солнце, золотая пыль в сарае, зеленые бутылки с

водой, в которой плавают навсегда насекомые, паутинка под крышей деревянного туалета, круглая, как лупа, почти стеклянная, совершенная, поле, вот его дом, поле без края и конца, море, мыс, фиолетовые цветочки на камнях, ветер — суховей, засуха, трещинки, старуха — нищенка, вся в пыли у крыльца магазина, тающее в кулаке мороженное, липкие пальцы, велосипед.

Но он мотал головой, зажмурившись, нет, теперь лето отодвинуто, забыто, теперь он целиком зимний, зимний, белый, легкий, больной простудой, гибкий, изнеженный, делает в постели мостик, выставив вперед тонкие ребрышки.

Теперь он просмотрел, как кино, сотни вьюг и метелей подряд, заснул и проснулся большое количество раз. Теперь он стоит на пригорке, закутанный во что-то теплое, и смотрит на ранний лес под еще сумрачным, утренним небом и думает, что прекрасней, нежнее этого снега нет в мире, ничьи руки не сравнятся с этим снегом теплотой, ничья кожа, ничье дыхание. Он завидует всему, что видит.

Нет, я не такой прекрасный, как эти холмы, как деревья, как убитая горем трава и беспомощное невидное солнце. Я хуже этой всей природы, потому что я человек и не могу блеснуть, опадать, зеленеть, сгибаться под тяжестью ветра. Я человек и чувствую холод, когда меня жмет к земле ветер, когда на мое лицо падает снег, я чувствую боль от ледяных ласк. Мне бы дома, теплого очага. Я слаб в своих желаниях, но влюблен в это все и хочу подражать. Шептать, шелестеть, искриться. Распадаться сотнями, тысячами под сиреневым небом, источать запах, такой, что не выразить. Унести свою Звездоглазку холодной ветвью ввысь, раскатать на своей кроне, не дать упасть.

Но неудобна шуба, обездвиживает, не залезть даже на дерево. Ходит кругами, по пояс в снегу, не знает, куда смотреть, чего хотеть, о чем думать. Пока не позовет бабушка, пока не станет достаточно времени, когда остальные дети выйдут гулять, ходить стороной, смотреть искоса, хихикать в варежки. Нужно скорее уйти, чтобы не испытать этого. Спрятаться за бабушкой, у теплой плиты, ждать обеда, разговаривать с котом, с книгой, с потолком, ходить из угла в угол, слушать радио, ждать у окна.

И вдруг посреди зимы, как чудо, серебряная лошадка, и болезнь, переросшая в каникулы, и

узелок с вещами. Бабушка вместе с крыльцом и всем воспоминанием прошедшего здесь удаляется, мельчает...

Каникулы, и в мамы руки.

В тот же день, когда приехали, бросилась в глаза чистотой и порядком давно забытая комната и сестрина дверь пролетала, зажмурившись, — пятном.

В тот же день, едва только приоткрыл крышку чердака, чтобы вспомнить давнюю шалость — свеситься вниз головой из слухового окна маме в кухню и заухать по-совиному.

В тот же день, едва приоткрыв крышку чердака, — вдруг обожгла, бросилась прямо в лицо большая, даже огромная, слепящая лимонница. Заставила крикнуть, вжаться, спрыгнуть — не пустила. Ян больше не подходил потом к чердаку, это было как заклятье, бабочка — хозяйка, пережившая зимнюю чуму, одинокая, королева. Бабочка-сестра как будто. Ян опять никому ничего не сказал.

В доме стало так интересно, отчего? Оттого, что дом — это его внутренность, это дом родился и живет в нем, а не он — Ян — в доме. Артерия плывет, несет на себе маму и кресла, и лампу, и ковер. Был мир внешен, больше, а теперь Ян разросся, вместил, осознал.

И потянулось. Жемчужный дымок, даль — бегом — приближающаяся, и на белом — белый аэроплан. Снежный человек — взлетающий — птичий человек.

А потом что-то столкнуло с дерева вниз, выпотрошило крылья, впечатало в снег. Ян жевал твердое, глотал снежную воду и был уверен, что это серебро сейчас льется по его горлу, ярче, чем ртуть, талое, теплое. Плавленные звезды — тающий в руках снег.

И жужжащий горизонт, безбрежное озеро, синий двор.

Тетя Марта скользит в валенках по коридору, тянет за собой твердые инеем мешки, то кричит, то ноет, то поет, как молитву

— Надорве-е-ется ма-а-ать.... Ма-а-а-а... а-а-а...

Сын у тети Марты сбежал, а внуки остались — тройняшки.

Я слышал, есть такая — Австралия. Ты ли это? Ты ли страна? Австралия, Голландия, ты ли — Аргентина?

— Не надо кукурузных полей! Там будут исчезать дети, теряться там, гаснуть!

Ян помнил сад, красно-зеленые пятна листьев, шмеля, охранявшего виноград. Он стоял в

снегу, в толпе взрослых, вокруг собственной матери, кричавшей, и все корил себя и этот дурацкий пришедший в голову сад. Ее уводили, уговаривали, грозили ей непонятым домом, а она, вытоптавшая поле, все твердила про этих детей, надавив указательными пальцами на виски.

Поля хотели засеять кукурузой, по весне, а к осени она уже бы заполонила, ростом ставшая выше третьеклассника, она бы манила к себе, в свои желтые чащи и заблуждала бы тех, кто меньше, чем ее стебель — детей. И маме это было больнее всех, Ян знал, вот дочь спит в своих мечтах, а сын, вот незадача, утирает ей морозные слезы, а сам думает про сад и застрявшую в его воротах птицу.

Наконец тетя Марта уводит маму за плечи, машет на всех ладонью и все расступаются, и Ян, оставшийся в поле, видит, как горит резиновое колесо, тая кругом снег в желтой траве, и как женщины, все соседки, качают головами, как под скачущий шелест их слов бежит где-то вдаль точка собаки и появляется в молочных сумерках месяц.

Вечером он возвращается по темнеющей тропинке и на веранде, прижавшись к стеклам, тихо плачет, обняв ситцевый солнечный зонтик с паутиной на спице, — за него, за маму, за ушедшее лето и за то прекрасное прошлое, которое больно вспоминать, до того там все в солнце, в ветре и до чего здесь, сейчас томительно и отчужденно. Он дотягивается до черной кнопки выключателя, и под потолком вспыхивает лампочка и тут же — с хлопком, обдав его хрустальным градом, — гаснет.

У Яна мерзлые пальцы, они с трудом сгибаются, считая — лето с середины, осень, зима до середины, и он вырос до выключателя, он дорос до света, сам не заметил, ждал и не заметил.

Значит, к следующему лету он перерастет свет, значит, оно будет — блестящее, зашевелится, и заживется в нем.

Ян улыбался, и с ресниц у него сыпалась стеклянная крошка.

— Я был плохим ребенком, я забывал Иисуса, приравнивая себя ему. Я был плохим ребенком, я не чтил Господа нашего, не отдавал ему свою душу, был полон ненужной жаждой приключений, я был отвратительным ребенком.

И Господь стал ненавидеть меня, заполонил меня, отнял возможность нормальной жизни, силой приручил к себе.

Теперь я проповедую другим людям. Я праведник, я идеальный из людей, я достоин

подражания. А я все, потому что я был отвратительным ребенком, Ян.

Дядя Марк, мамин брат, лукаво усмехнулся, он ждал реакции от Яна, и Ян вопросительно, как только смог, вопросительно взглянул на дядю Марка.

— Ты хочешь спросить, к чему я это все? А к тому, что для тебя, мальчик мой, еще не все потеряно. А теперь беги, беги к своим насущным играм и не забывай, что они происходят под святым животворящим воздухом. А воздух — есть дыхание небесное.

Ян сорвался с места и умчался что есть силы в распахнувшуюся дверь, как был, без пальто, упал в снег и засмеялся.

Сидя в снегу, он видел в окно, как мама подает дяде чаю, как папа долго счищает щеткой снег с куртки, потом с сапог, не замечая его, проходит мимо, папа ненавидит религию и все, что с ней связано. Поэтому ему следует опасаться общения с дядей, потому что папа, если что, за себя не отвечает.

Ян мерзнет, но не заходит домой, идет в другую сторону, в сторону моря, там холоднее в миллион раз, а ему как назло так хочется рассказать морю об этом смешном происшествии, может быть даже не ему как таковому, а Марике в лице моря. Выбирать не приходится.

Мама говорила, что море не замерзает от своих слез, солью разъедает снег и лед и переливается жидкой жемчужиной даже в самый лютый мороз. Но в эту зиму прибрежная полоса, там где летом швартуют лодки и катера, покрылась тонкой корочкой льда. Ян подошел совсем близко, ему не разрешалось, но сейчас его никто не видит. Он сел на корточки и, поглаживая ладонькой, тихонько спросил:

— Ты потеряла слезы, да? Если ты не плачешь, то тебе не грустно, а если не грустно, то весело. Я рад, что тебе весело. Честное слово.

Холодный ветер мог выдуть из Яна душу, высвистать сердце. Еще минута, и глаза у него выцветут, еще минута. Ян побежал обратно по узенькой заледенелой тропинке и на холме, откуда был виден дом, совсем недалеко, упал. Упал и засмеялся.

Вдруг окружающая жизнь нахлынула на него серебряным потоком. Всем своим счастьем, неосознанным, минутным. Ян сидел в снегу, раскинув ноги, даже без сапог. Один носок почти сполз и болтался заснеженной тряпочкой, а Ян улыбался, глядя с холма на свой дом, на внутреннюю золотистость комнат сквозь его стены, на бесконечный горизонт вокруг. И там,

в квадрате окна, сияющего изнутри, он представлял мамин высокий профиль, подернутые шалью плечи, и мама смеялась, он чувствовал сквозь пространство волну радости, был весь охвачен ею.

— Мама забыла. Она снова становится прежней, — прошептал Ян и посмотрел на верхние окна, на свое, в котором лучился свет, небольшой, из коридора, через открытую дверь, а потом на окно Марики, совершенно черное, отражающее фонарь.

— Вот она спит там, и никто не знает, что ее душа есть внутри, бедная моя невидимка... Свет подтверждает наличие душ за стенами — живых, настоящих. Почему они не позаботились об этом? Это же так просто — зажечь свет, чтобы теплилось, грело, чтобы мама излучала радость, как сейчас. Это же так просто.

Ян поднялся на ноги и, убыстряемый идеей, быстро сбежал с холма. Потоптался у двери, выкинул на крыльцо свой снежный наряд и неслышно, как котенок, проник в дом, полный парадного, яркого спокойствия. У двери он еще раз отряхнулся быстрым движением головы и плеч, не задумываясь, инстинктивно, как отряхиваются животные, выпрыгнув на берег из воды. Ян был сейчас приближен к инстинктам, ведь никто его не видел, он был сам с собой — снежный, босой и неслышный. Он оглянулся по сторонам и молниеносно промелькнул мимо распахнутой горящим квадратным желтком двери гостиной, где слышен был дядя, отрывок его речи:

— Бог, про которого все везде говорят в любом лице...

Но Ян не дослушал, он уже бежал вверх по лестнице, забывшись, оглушительно топя, цепляясь вытянутыми руками за перила. И только наверху он сквозь свое двигательное дыханье услышал:

— У вашего мальчика этих сил теперь за двоих.

Ян и правда чувствовал все это время, как ему казалось, что-то новое в себе. Как цветок, вырастающий у него из пяток, вот он почти распустился в голове и ответвления его в сердце и листья его в руках. Он улыбнулся и побежал к себе в комнату, долго искал что-то в темноте, открывая шкафы, судорожно выдвигая грохочущие ящики, но ничего не нашел и опять понесся по лестнице, но уже вниз. Вильнув мимо распахнутой огнем двери гостиной, он быстро свернул в темную кухню, встал на цыпочки, с трудом откинул крючок на двери в чулан, влез даже на стул, но не смог дотянуться до нужной полки. Ян не расстроился, спрыгнул обратно со стула:

— Я охотник за огнем.

Коробки, толстые поваренные книги, пирамида на качающемся стуле, наверху пирамиды — мальчик, царь горы, опасно раскачиваясь в воздухе, он ворошит узкими руками темноту, по очертаниям угадывая предметы. Наконец с приглушенным победным криком, прижимая к животу почерневшую керосиновую лампу, медленно летит вниз и, падая на скрученный ковер, смеется. Смотрит на свою пирамиду, ее верхушка теряется где-то вне глаз, в темном запахе.

— Ты не такая счастливая, как я. Ты даже не дерево. А так. Предмет, — говорит Ян пирамиде.

Но, выбегая наружу, он все же благодарит за помощь все вещи вокруг.

Теперь у него в руках огромный источник света, звеня медной ручкой о стекло, булькая наполняющей огненной водою, он — улика души, жизни, пока погасший, совсем скоро вынесет из себя свет. Свет — жизнь. Если у Марики будет в окне гореть лампа, то все будут думать, что она там, ни у кого даже не будет сомнений, что ее там нет. Спит, ну и что.

Ян схватил спички и побежал наверх.

— Не ругайся, мамочка, не ругайся, спички я взял, я осознанный, ни искорки не пророню. Это чтобы ты поверила мне — она есть, есть.

А мама говорила в гостиной:

— Но он такой скрытный, я не знаю, что у него на душе. Ох, я решила, пусть думает сам. Ну чем я умнее и лучше его? Годами?

Ян не слышал ее речи, слишком был поглощен своей идеей, невероятной по простоте, но такой блестящей. Только, может быть, тихий поток ее голоса успокаивал его, доказывал, что и мама — существует, вот она, здесь, рядом, в одном с ним доме.

— Всё существует, и я. Но сейчас я задан целью, я невидим.

В своей комнате он сел у стены на пол, быстрым движением почесал щеку и задумался.

— Тяжело, когда всё приходится делать самому. Как она открывается?

Тяжелая лампа, закопченная изнутри, чумазый фитилек, дрожащий, как гусеничка.

— Ты какая-то, как из земли, — сказал Ян лампе.

Лампа открылась. Он вспыхнувшей с первого раза спичкой зажег фитиль. Лампа закрылась. Все вокруг озарилось трясущимся светом, ожившие тени поползли вокруг.

— Помнишь свое предназначение? Ты теперь не просто лампа, ты — подтверждение. Поняла?

Каким я буду, когда вырасту? Белым, бесловесным? Четким, добрым? Откровенным? Буду нести в себе постоянно растущий ворох

тайн. Проблема в одном: я ни на кого не хочу быть похожим, моих знаний и чувств недостаточно, чтобы понять хоть кого-нибудь в этом мире. А как я могу хотеть быть похожим на кого-то, если не понимаю его? Что мне нужно в себе растить, какие качества? Естественен ли я, достаточно ли во мне жизни?

Но слова — это камни. Ни в чем сейчас нет такого смысла, весь смысл в том, чтобы зажечь огонь в твоём окне, сестра, озолотить его изнутри, подтвердить твоё существование. Но дверь в нужную комнату заперта, ключа нет нигде, Ян искал его сотни раз до этого.

Он стоит, упершись лбом в дверную ручку, в напряжённой руке сжата, качаясь, ослепительная лампа, из-под ног уходит, расчерчиваясь на световые полосы, ковровая дорожка. Перед ним сложная задача, ребус.

— Адъютант! — вдруг выкрикивает Ян. — Адъютант! Придётся пойти на риск!

Адъютант вытягивается в стойку смиренно и рапортует:

— Господин капитан, другого выхода нет, все пути сделаны из дерева и заперты на замок. Остается только окно, господин капитан, только окно.

— Вперед! — кричит капитан.

И Ян бежит за ними вверх, на чердак, бросая по сторонам быстрые световые круги. Снег на его одежде растаял и намок. Чердачная дверь распахнулась затхлым морозом, со вздохом впустив его в себя, как панцирь черепахи впускает в себя голову черепахи. Слуховое окно открылось легко, замерзшая паутина и пыль, и снег, и холодный ветер привел все вокруг в тайное, осторожное и вражеское движение. Ян уже перекинул одну свою ногу на внешний карниз и вдруг замер, обдуваемый холодным воздухом. Прямо на него с черного потолка двумя желтыми веками презрительно и отчужденно смотрели крылья той странной бабочки, что поселилась здесь осенью.

— О... — выдохнул он и вернул ногу обратно. — Извините, но я в пылу достижения своей цели про вас совершенно забыл. Простите, пожалуйста, как поживаете?

Но бабочка не ответила, быстро моргнула прозрачными крыльями, ссыпав немного пылицы на разрушающийся комод без ноги.

— Можно я тут пролезу? Я быстро, мной движет важная цель.

Ян старался быть с нею очень вежливым, пытался спрятать свой страх, от этой бабочки исходило недовольство. За время, что его здесь не

было, она невероятно возросла, стала как две папины ладони, сложенные вместе и распахнутые как крылья. Мерно покачивалась она на потолке.

— Вы не можете нам помешать, — вдруг выкрикнул капитан, и Ян, воспользовавшись этим, легко перепрыгнул через подоконник, про себя извиняясь за капитана, и стал ощупью искать рукой лампу, оставшуюся где-то внутри. Он уже ощутил пальцами жар, исходящий от нее, несколько раз скользнул по обжигающей поверхности стекла и почти нащупал теплую медную ручку, как вдруг его руки, повыше запястья, коснулось что-то множественное и мягкое. Он передернулся от страха и отвращения, но все же ухватился за ручку и осторожно вытащил лампу из окна. Вот он стоит на внешнем карнизе, под самой крышей высокого дома, вытянув руку с зажатой в нею лампой, а на руке его — бабочка, медленно и страшно приближающаяся к локтю.

— А, вы хотите пойти со мной? Вы уверены? Вы не боитесь?

Ян двигает плечом, бессознательно пытаюсь освободиться от нее, этой своей рискованной гостьи, но она сидит, вцепилась своими шестью лапками в его рубашку. Сидит и трогает его лицо огромными крыльями. Он держится свободной рукой за холодную, потрескавшуюся краской стену и смотрит вниз. Из его расширившихся глаз медленно катятся две симметричные слезы. Внизу, уходя белой змеею в воронку, шевелится малосенький двор, кричит, то набегая, то исчезая, черный горизонт, рычит верхушками елок оскалившийся лес, который сейчас может поместиться Яну в ладонь и сидеть там, злой своими вечнозелеными иглами, своими пнями, волками, своею луной и шорохами, и свистом, и все это очень далеко, очень мелко. А на плече его дрожит огромная желтая бабочка, и до водосточной трубы шесть или семь шагов, и нарастает ветер. И Ян идет, его маленькие ноги скользят, снег сваливается вниз, и стена совершенно гладкая, без единого выступа, без ничего, за что можно держаться.

— Пожалуйста, — сказали губы Яна, и он впервые посмотрел этой бабочке прямо в ее глаза. И она смотрела в него, не отрываясь такими черными шариками, дробящимися, витражными бусинами.

— Твоя затея бесполезна, — сказала она и взлетела.

Ян зажмурился, отпустил бесполезную стену и поднял руку вверх.

— Пожалуйста, помоги мне, — шепотом просил он бабочку.

— Это бессмысленно, — отвечала она, кружась вокруг него, — ты сам можешь добраться до окна и вернуться в дом.

— Я не сделаю этого, я не пойду назад, я никогда не пойду назад. Пусть уж лучше я упаду отсюда, пусть уж лучше я разобьюсь как рюмка, но какая мне цена, если я чего-то боюсь?

Ян не смотрел никуда, кроме стены, он еще немного подержал руку в воздухе и опустил ее, медленно пошел дальше, осторожными шажками, слезы катились ему за шиворот, стекали, как неясные улыбки, и грели. Он шел и сквозь грохот железа и свист ветра слышал, как вздыхала бабочка, кружащаяся вокруг него. Она вздыхала, летая, а потом села обратно к нему на плечо.

— Ты знаешь, Ян, я очень тобой горжусь. И так хочу, чтобы ты вырос и жил, радовался всему, что входит в понятие жизни, чтобы ты делал добрые дела и любил, насколько хватает сердца. Поэтому я помогу тебе, — сказала она и, взяв Яна своими шестью руками за рукав рубашки, подняла его вместе с лампой в воздух. Две его слезы скатились с карниза, растопив дорожками снежный лед, и полетели вниз. А Ян полетел вверх, размахом руки поставил лампу в снег на карнизе окна, пытался даже разглядеть на лету — что там, как она спит — на боку? Хотел даже в мыслях услышать ее дыхание, глубокое и легкое, хотя бы таинственные очертания разглядеть. Но в окне так ярко отражался огонь от лампы, и Ян увидел только его и свое заиндевелшее испуганное лицо и всего себя — висящего в безграничной темноте, перекошенную рубашку и желтый свет своей спасительницы над левым плечом — будто его сердце испугалось и вытянулось вверх в воздух — висит в нем, трепещет и держит его над бездной. А потом от этого всего, поразившего Яна, уснувшего, неведомые силы уронили в снег.

Там он лежал с опрокинутой головой, и весь дом возвышался над ним, как живая и теплая скала, и окно Марики пылало громче всего, вся ее душа выглядывала из этого окна, и было видно, что ее душа — самая сильная вокруг. Он лежал и видел — открывается дверь, выходит мама, завернутая в шаль, как улитка, и за нею дядя в строгом пальто, смеются, и пар летит у них изо ртов, а над дверью качается и скрипит фонарь. Они спускаются с крыльца, и мама придерживает шаль у горла и озирается с беспокойством, но потом снова смеется. Они медленно исчезают в темноте — тихонько идут к последнему автобусу. Ян дожидается их исчезновения и рывком проникает в дом, пролетает мимо кухни, где папа, сторбившись, дует в горя-

чий чай, уткнулся в газету, очки блестят, в окне белым копошится снег, трещит старое дерево, но Ян уже в постели, он быстро стаскивает через голову мокрую и холодную рубашку и прячет ее под кровать, он освобождается от одежды и весь зарывается в спасительные огромные комнаты, ночные, тяжелые. Сейчас ему хочется чтобы он бродил в лабиринтах вечно и чтобы никогда не наступало утро. Он ни за кого не волнуется, ничего не требует взамен. Спит и растет. Дышит.

Когда пришло утро, он не узнал. Теперь будто бы вечное покрывало тайны, сна после великого действия, беспробудного, бессознательного сна окутало Яна, всезнающий, обреченный, он стоял возле белого окна, медленно натягивая свитер на нарядную зеленую рубашку, мама стояла рядом, запрокинув руки в зеркало, надевала в волосы живые ленты. Про то, как теперь горит окно — никто не узнал. Все собирались идти жить, праздновать, смеяться, встречать других, породненных людей, опрокидывать в них свои истории. Папа собирался, мама и Ян.

Шли по белому полю с неудавшейся маленькой кукурузой, бежали мимо озера, схватившись за руки, зажмуренные, отяжеленные. Ян думал — он до сих пор в лабиринте. Взошли в другой дом — Ян был здесь уже однажды, когда-то, в полном вихре, в это же время во время вокруг рождества, тогда вековой снег грел и мчался, тогда все мчалось и сестра была совсем не рядом, запиралась в мансарде с незнакомыми подростками и не хотела выходить, а Ян стоял под дверью и ревел, теперь он думает — какой же он был счастливый, оттого что все запертые Марикой двери всегда непременно открывались, и она выбегала на свет, волновалась, сердилась, размахивала руками, то резко метнется в угол, то очертится на белом оконном фоне сердитой тенью. А теперь Ян заходил в этот чужой дом, вежливо наклонял голову, позволял целовать себя, трогать за волосы и щеки, раздавал смущенные улыбки и смотрел в пол. Тетя Вироника — мамина родственница или подруга — размытая именинница. Обруч вокруг головы, хохочущий рот, двурядовые белые зубы, грустные глаза. Мягкая, белая, холодная и влажная, как большая рыба. Она вздыхала, поднимала его на руки, тяжело несла в комнату, оставляя на ковре кругленькие следы своих коричневых каблучков. Там их садили за длинный стол, и все были похожи друг на друга, смущенные и веселые, все были старые, неинтересные. Дети были, была Берта, девочка, хуже белки, ху-

же выдры, красивая, как фотография, вся лаковая, хитрая, скользкая. Ян не ел, не пил. Из каждой тарелки ему выглядывала Марика и шептала грозно:

— Мальчик, братик! Найди мне принца!

Ян фыркал, переставал смотреть на стол, смотрел вокруг, не останавливая глаз, но опять она мелькала — размытая, быстренькая:

— Ян! ТЫ обещал найти! Ищи!

Мама сидела, положив скулы на ладони, наклонившись, о чем-то беседовала, может быть, пела. И тут прошел Александр.

Александр вышел на балкон, провел по лицу ладонью и закурил. Он совершенно точно знал, что из комнаты на него смотрят через окно все гости, и поэтому курил надменно и гордо, показывая, какой он сильный. Папа тоже захотел выйти к этому Александру, он был даже суров в чем-то, зол на Александра. Поэтому папа вышел на балкон следом за ним. Ян смотрел и по движению папиных губ понял слова «школа», «институт» и «серьезным». Александр на это лишь улыбался и держал сигарету, растопырив пальцы, подняв руку чуть ли не выше головы, как девушка. Ян хихикнул. Этот Александр был приемным сыном тети Вироники, мама говорила, что он крайне плохо учится, совсем ни о ком не думает, кроме себя и своих пластинок. Ян очень заинтересовался Александром, хотя он уже не был ребенком. И дети же тоже были на этом празднике. Была же эта Берта, мама сказала — она ровесница Марики, — и вздохнула. У Берты были коричневые волосы и хитрый вздернутый нос, она вся была длинная и худая, зазнавалась и называла Яна «больное дитя». Это потому мама часто говорила всем, что он чувствителен и молчалив. И что у него нервы. Ян не знал, где у него нервы, он только ненавидящим взглядом жег этой Берте спину, пока она уплетала пирожные, сидя за большим столом. Все кричали что-то, особенно тетя Вироника, видимо, она была пьяна. Ян жалел, что не пошла бабушка. Бабушка не любила тетю Виронику и всех остальных родственников, к тому же она жила далеко и забывала все лица быстро, не жалея об этом.

Сначала выпал снег, потом начались каникулы, Новый год, Яну подарили какой-то набор, большую магнитную доску с пластмассовыми буквами и цифрами. Так это было все ненужно, что он даже плакал потом, под утро в ванной комнате. Ему хотелось бархатного камзола, маленькую живую лошадь, зеркальный шар. А потом его жизнь спасла неведомая сила, и он стал гордиться самим собой. А потом было тети-Вироникино день рождения, мама составляла ка-

кой-то букет, совсем не красивый, папа намазал шею одеколоном, и они пошли по тем белым лабиринтам, сквозь них.

И вот сейчас Ян увидел Александра, и все остальные люди даже, кажется, на земле расплылись ненужными пятнами и улетели. Александр был высок, худ и надменен, у него была детская, как молоко кожа, серые холодные глаза и длинные коричневые волосы. И во всем его поведении было столько холодного, непосредственного и даже неприличного, что у Яна замирало дыхание. И сердце билось и билось. Он сказал маме, что хочет в туалет, быстро выбежал из-за стола и уже в туалете, упав на пол, быстро-быстро, задышавшись, зашептал в сложенные ковшиком ладони:

— Ты знаешь, я нашел тебе принца, я в этом совершенно уверен, Марика, признаюсь, как бы ни было больно, он лучше меня, во много раз лучше. Он такой, такой, и если нарядить его в светящийся плащ и бархатную курточку, а в волосы корону надеть золотую и сапоги на ноги высокие и посадить на коня, пустить к тебе, то ты от одного предчувствия сразу же проснешься от сна. Он красив, изящен, он изнеженный, как девочка, но сколько в нем силы, о, почему же я не родился им...

И Ян вдруг заплакал от зависти и злобы, он никогда не думал, что встретит кого-то прекраснее себя, настолько прекраснее. За круглым окошком в кафельной стене падал тихо снег, слышно было, как в гостиной хохотали и спорили люди, и где-то, в какой-то комнате, запертая собака скулила и скреблась когтями в дверь. Ян затаил и поднял голову, оторвал лицо от мокрых рук. На бортике ванны сидела Марика.

— Что ты? — спросила она.

— ТЫ разве не слышала?

— Слышала, ЯН, слышала, но не верю. Ты уже столько раз мне всего обещал, что я вообще ничему не верю из твоих уст.

Она закинула ногу на ногу, выгнула спину. У Яна расширились глаза от мыслей, он вдруг понял, как любит ее, всю, целиком, придуманную, всю, из воздуха, любит.

— Я же тебя не отдам ему! — громко сказал он.

— А я тогда не проснусь!

— Ну пусть он тебя только поцелует и исчезнет навсегда, я договорюсь с ним, я уверен — он поймет.

— Попробуй, — сказала Марика, засмеялась и исчезла.

И вот я представляю вас. Тонкий союз, нежная кожа. Он будит тебя даже не поцелуем, а только прикосновением руки к твоей руке. Твоя выцветшая, отончавшая рука оживает и через воздух тянется к его раскрытой ладони. Я ликую. Вторая рука твоя не глядя тянется ко мне. Но я за пределами вашего мира — стою маленький, с отросшими волосами, как грустная пони. А вы лошади, несущие, лихие. Слишком возросшие, поднебесные для моих любящих ладоней, восторгающихся глаз. Слишком маленькие для простого приветствующего знакомства. Хватайтесь друг за друга, за живописные исторические наряды, за солнечные лучи. Я закрываю глаза. Оставь мне хотя бы пуговицу от своего платья. Я сам все придумал и отчаялся. Я закрываю глаза.

Ян не смог сдержать слез, выбежал в коридор, стоял у стены.

— Ты почему плачешь? Как тебя зовут?

— Я не плачу. Я отчаялся на мгновение. Но это всего лишь мой вымысел. Я Ян.

— А я — Александр. Ты чей-то сын, да? Здесь столько незнакомых людей, они все вспоминают друг друга несколько раз в год. Возможно, мы и встречались раньше, но я не помню. Приятно тебя узнать.

Александр по-взрослому протянул руку, и Ян пожал ее изо всех сил крепко, тяжело и как будто понял что-то, просиял, притянул Александра к себе, поднял голову

— Ты не удивляйся. Ты должен мне серьезно помочь! Отведи меня, где не звучат голоса.

И Александр, с трудом сдерживая улыбку, пошел за Яном в самую дальнюю комнату большого дома, стоящего на берегу леса.

— Хочешь, я поставлю тебе пластинку?

Александр вытащил из большого светлого ящика прямоугольный конверт, завел проигрыватель и пояснил:

— Как будто Гамлет играет на кларнете. Есть даже рок-н-ролл. Есть даже блюз, малыш. Только тс-с, — он прижал палец к своим большим губам, — Вироника называет это играми, не одобряет. Но если включить — вся жизнь моя кажется чужой. Такое волшебство. Тебе нравится?

Ян смотрел на крутившийся в бесконечность черный диск и на горевшее лицо Александра.

— А как это происходит? — спросил Ян.

— Что?

— Кто делает так, что оттуда появляется музыка?

Александр улыбнулся и наклонился близко-близко к Яну. От него пахло, как иногда от папы — табачным вином, одеколоном, но и еще чем-то, Ян не знал, юностью, горящим лесом. Александр зашептал, обдавая Яна всеми этими запахами:

— Это дикая тайна, дружок. Есть несколько людей, которые делают пластинки. Это происходит в темном виноградном лесу, там, под землей, при свечах, у всех этих людей пар идет изо рта. Они сидят посреди черной земли, на ящиках, чернокожие, блестящие от пота, и каждый делает со своим инструментом мелодию. Да, сначала каждый, а потом все вместе, а женщина — тоже темнокожая, полная, на большой сковороде печет пластинки из дегтя и виноградной смолы и через трубочку вдывает туда все звуки. Потом фотографирует остальных, вырезает из карточки круг и клеит его на подсохшую пластинку. Это сложно, брат, как не забыть, куда что записал, а?

Александр подмигнул ему, резко выпрямился и широко прошагал к окну, закинул руки за спину, уперся лбом в стекло.

А Ян уже забыл, зачем он пришел сюда и кто его привел, он сильно думал про черных людей под землей в лесу, про свечные огарки, что крутятся, поставленные на пластинки, кидая блики на широкие их лица, широкие, влажные, воодушевленные, о саксофонах и гитарах, присыпанных землей и о женщине в фартуке и косынке с горящими щеками.

— А как потом они попадают к тебе?

— Я знаю одного из этих парней, — не оборачиваясь, ответил Александр.

— Ты был там?

— Конечно, был. Но учти, парень, это все страшная тайна!

— Ты можешь во мне не сомневаться.

Ян закусил губу. Теперь у него две страшные тайны, одна тяжелая, другая легкая. Он не человек, он ходячий сундук с секретами.

— Александр, а ты не можешь сказать этому твоему знакомому, чтобы он мне тоже прислал хотя бы по пластинке в год? У меня никогда таких не было, правда.

— А тебе не рано?

— Нет, я выше всех сверстников по развитию. В каком-то смысле, я тоже — тайна, Александр! — гордо сказал Ян.

— Ну, тогда нет проблем, — весело ответил ему Александр, — будут тебе пластинки от моего приятеля!

Ян благодарно улыбнулся и замолчал. Александр закурил, устроившись на подоконнике. Между задравшейся штаниной и ботинком у него виднелась полоска бледной кожи.

— Ты что-то хотел мне рассказать, кажется? О чем-то попросить? Это же важно, правда? — наконец произнес Александр.

— О, да, но это слишком серьезно, пойми. Это смертельная тайна, тебе нужно быть очень понимающим и добрым человеком, чтобы проникнуться ею, тебе нужно быть настоящим принцем, во всех красках этого понятия.

— Дружок, тебе не нужно просить о моей доброте, я и так сама доброта, независимо от твоей просьбы. И я не буду над тобой смеяться, в конце концов, ты так мал и так грустен, в противовес мне, высокому и беззаботному, что мне даже стыдно, черт возьми!

— А я был и так уверен в тебе. Я выбрал тебя из всех, чтобы сделать ключом, спасителем.

Александр, похоже, весь превратился в слух. Он вытянулся тугой шеей, напрягся и посерьезнел. Ему так хотелось узнать что-то об этом маленьком человеке со следами школьных побоев на лице, он отражался в суровых, потемневших глазах Яна и сам дивился своей торжественности.

Отомстить кому-то из врагов, отобравших деньги на завтрак, выслушать о несправедливости отца, как он мог помочь этому ребенку? Какую тайну должен разгадать? Александр терялся в догадках.

Но Ян тогда ничего не успел сказать, из-за пластинок или из-за чего-то другого. Большая белая тетя Вироника была из тех женщин с шеями, будто присыпанными влажной мукой и непомерно крепкими, растущими очень хорошо ногтями. Она тогда стукнула одним из своих ногтей в дверь комнаты Александра. Он молниеносно захлопнул крышку проигрывателя и помахал рукой в воздухе, рассеивая дым, но глаза его при этом все еще витали около тайны, так ему и не открывшейся. Ян видел в его полуоткрытом рте очарованность, невероятность нового поворота жизни. Так бывает только в одном случае, когда жизнь бросает в тебя нового человека, внезапно, и этот человек способен открыть тебе черт знает что. Даже если он очень маленький. И Ян чувствовал себя победителем, открывающим, чувствовал на себе интерес Александра, он подал ему руку, напряженную, теплую.

— До свидания, Александр.

— До свидания, Ян.

В ответ на это тетя Вироника разразилась смехом и закричала сквозь дверной проем в коридор:

— Я такой сцены не видела даже в кино! Вы только посмотрите на их серьезные мордашки!

Большая, она без всяких усилий подняла Яна на руки и стала уносить его от долгожданного, первого, восторженного друга. Ян висел на ее руках и грустил — нет, он не вырос, легкий, легкий, жалкий. Ян висел и смотрел на удаляющегося Александра, только его темный силуэт напротив побелевшего в сумерках окна, а потом в свете коридора Александр вместе с комнатой уместился в черный слепой прямоугольник. Уже у двери тетя Вироника, наконец, поставила Яна обратно на пол, поцеловала пьяными губами в лоб и горько усмехнулась, обращаясь к маме:

— Ах, дорогая, чужие дети растут так быстро!

Мама быстро всхлипнула и кивнула узким лицом. Сама она Яна на руки никогда не брала, мама была худенькой и слабой, наверное, только снаружи, потому что столько грусти и смирения Ян не видел ни в ком. Тетя Вироника принялась обнимать маму, уже одетую к выходу. От этих объятий мамина шапка съехала на бок, и вся она как-то осела в тетиных руках, согнулась в коленках, а Ян стоял и не мог найти рукою рукав шубы, все смотрел на мамину длинную, белую, безвольно повисшую над тетиным плечом руку. В комнате папа громко предлагал всем пропустить по рюмочке напоследок.

А потом они втроем молча шли по неслышному снегу мимо погасших больших домов и спящего леса. Когда проходили мимо озера, Ян зажмурил глаза. Но ничего страшного — белый круг, зажатый в лед, толстый, надежный. Почему мама теперь так боится этого уютного места и ивы, заиндевелой красавицы, и песка, и пней, и сосен? Раньше, до этого лета, мама так много времени проводила здесь, сидела на берегу, расплескав юбки, и сыпала песок из кулаков на свои гладкие ноги, пела, аккуратно плавала, как плавают все мамы — ни за что не намочить волос. Многие воспоминания Яна о маме рисуются ему здесь — она стоит, рукой облокотившись о ствол ивы, и улыбается, и ветер шевелит воротник блузки. Есть даже такая фотография.

— Рыбы умерли?

— Спят, Ян, спят, — ответил папа.

— Их тоже разбудит принц?

Но папа посмотрел на него очень сурово, и Ян замолк, не договорив.

Кажется, это легко — вырасти. Стать поближе к верхушке сосны и наклоняться за цветами. Самому стать цветком, распуścić крылья. Стряхивать снег с плеч, как пыльцу. Я завидую тебе, ребенок, еще горше, чем ты мне. Я молод, мне семнадцать, у меня нет проблем с

кожей, я не влюблен в свою мать, я не знаю ее совсем. Ты говоришь — мои родители — птицы и этим заставляешь меня сгорать от тоски. Ты не знаешь, они не птицы, они умерли. И я это знаю. Я знаю, а ты — не знаешь. Тебе не надо, ты не поймешь. Но самое странное, что и я — не понимаю. Я смеюсь, видишь? Над тобой, святое детство, золотое детство. Кто послал меня тебе? Зачем? Твои вопросы, твоя тайна, твоя дружба.

Мы идем вместе по снегу, пинаем его, взбиваем сапогами, смеемся. Двое мужчин — большой и маленький, проигравшие эту жизнь. Тебе знакома тоска? Любовь? Ты сам тайна, Ян. И я смеюсь над тобой, увожу под землю, на дерево, в самые глупые сказки.

Я тогда мечтал, чтобы мои волосы выросли невысказанно, волочились бы за мною по земле и имели цвет серый и чтобы мои мускулы налились силой, я мечтал быть ребенком — волком, ребенком без капли страха, чтобы прыгнуть в подземелье и вернуть свою настоящую маму, быть ласковым и понятным, чтобы она поняла меня, поверила и вернулась обратно в мир. Тогда я стал бы вновь обыкновенным ребенком и не мог бы выговорить свое имя и глупел бы каждый час и забыл бы все, только мама была бы рядом. Она то уж верила бы мне, не как Вироника, осознавала, как я рос и, может быть, даже не старела, оставалась вечно, как на фотокарточке.

Александр ринулся, вынул откуда-то из груди книгу фотографию и бережно, как поднос с золотом, стал показывать Яну.

— Видишь, она тут совсем как я, ей здесь семнадцать лет, посмотри только в ее глаза.

Ян смотрел на очень красивую девушку, закинувшую руки над головой в хлопок, странный вывих бедра в танце, вытянутую ногу, платье, разошедшееся в разрезе, белую коленку и прозрачные насмешливые глаза. Карточка была черно-белая, маленькая, вся поломанная, с левого края засвеченная, какие-то блики из других времен летали в ней.

— Это снимал мой отец. А через год родился я, понимаешь, не вовремя для них я пришел в этот свет, обездолил их своим появлением, огорчил, даже — убил. Они ничего не смогли никому объяснить, они сбежали из нашего города, из наших краев. Я был внутри ее в те времена, когда они исколесили всю страну на старой машине, голодные, ничего не знающие дети. Я родился посреди поля, я был осыпан слезами. Они бы вырастили меня лучше всех, в любви и счастье, только им никто не объяснил — как.

Они так хотели меня спасти, мама назвала меня как отца, он, Александр, не спящий, вел эту машину, она, моя мать, обнимала его ноги, я кричал и кричал на заднем сиденье. Они так любили друг друга, да, милый Ян, это была такая искренняя попытка, весь этот любовный хаос, породивший меня.

— А дальше?

— А потом они сдались. Вироника даже не родственница им, какая-то знакомая, одноклассница, возможно. Они приехали ночью обратно в город, пробрались к ней в дом, нашли ее, сонную, молодую, и навеки поручили ей меня, заплатив ей за это своими жизнями. Той же ночью эта большая машина, ведомая тем неведомым Александром и обнявшей его ноги моей матерью, — полетела с нашего мыса в наше море. Все потом их простили, все потом так плакали — все-таки милые были ребята — мои родители. Стали обо мне заботиться — дедушки, бабушки. Но Вироника никому не отдала меня — добрая и преданная, полюбила. Посмотри — у меня везде их осколки — моих прекрасных разбившихся зеркал.

— Но как ты об этом узнал? Ты же был ребенком.

— Я и сейчас ребенок, и буду ребенком всегда, ведь нет тех людей, которые вырастили бы меня, научили подлинно мудрым вещам. Когда я был маленьким, Вироника говорила, что мама уснула, а потом я сам все разведаль, я про смерть знаю с самого рождения, наверное, эта смерть и есть моя мать, я не могу больше говорить.

— Тебе сказали — уснула? Так и сказали?

Александр посмотрел на Яна — в его глазах был истинный ужас, медленно открывался его рот, вытягивалось лицо, страшно и взросло прижимались ручки его к груди.

— Нет, нет, когда говорят — уснул, не всегда подразумевают — умер, — успокоил его Александр. Он уже догадывался о какой-то жуткой трагедии, так преобразившей этого ребенка, представлял ту тяжесть, которую вот-вот взвалит на себя молчаливым согласием в вечной помощи.

— Но все же чаще всего это так, ведь смерть, Ян, это просто.

— А я тебе докажу, — вдруг спокойно сказал Ян, поднимаясь.

— Да, конечно да, а я и не сомневаюсь.

— Ты еще не знаешь моей истории. Твоя история невероятна, и я полюбил тебя в тысячу раз больше после нее. Но моей ты не знаешь. Это такой момент, который заключает в себя всю мою жизнь. Это как раз тот крепкий засов

на моем счастье, который ты должен отпереть. Для этого я и нашел тебя, Александр. Сядь.

Александр опустился на пол рядом с Яном и стал смотреть на него снизу вверх, повинувшись во всем. Всё забыл он, всё.

— Ты слушаешь меня? Когда-то давно, когда я был просто ребенком, и из этого я мало что помню, моя память скользила, танцевала. Я об этом очень жалею, она не отпечатала самых важных моментов. Я долго был просто ребенком, а потом в один момент все переменялось, — Ян вздохнул и тоже опустился на пол, рядом, — нет, я не могу тебе этого рассказать.

— Почему?

— Ты не обрисовался для меня. К сожалению, ты остаешься чуждым, большим.

— Даже после того, как я рассказал тебе свою главную тайну?

— Одной тайны не достаточно. Нужна внутренняя связь и от нее легкость.

— Доверие

— Доверие.

Ян замолчал, он чувствовал от Александра стремление приблизить тот миг открытия, чувствовал, что всё зависит не от него. Почему он должен настолько верить этому юноше? Нет в мире ему близкого сердца, близкое ему сердце уснуло, всё сводится к этому. Ян чувствовал, что положение безвыходно.

— Пойдем съедим что-нибудь, пока не пришла Вироника?

Александр поднялся, открыл настежь окно, впустив в их тайный воздух другой воздух — неопределенный, ледяной. Все запахи погрязли в нем, все тени, отпечатки. Стало бело, светло. Он достал пластинку, улыбнулся, сделал так, чтобы слышал весь дом.

— Даже стены могут танцевать. Я совсем забыл, у меня для тебя кое-что есть!

Ян закрыл глаза, а потом, когда открыл — был рад. Перед ним, на длинных ладонях Александра лежала коробочка из бархатной бумаги.

— Тайна, тайна, тайна, — сказал Александр. Потом улыбнулся.

В коробочке лежала маленькая пастушья дудочка. Ян вспомнил, что он ребенок, и не стал сдерживать слез. Он даже не убежал, просто сидел на полу и плакал. Александр принес еды. Заходило солнце. Пока незаметно умирала зима.

Ян ел хлеб, соленый от слез, на синем ковре двигались тени и красный свет блистал. И от

всего исходило странное, невиданное тепло. Он чувствовал — совсем скоро он разрешится от своей тайны, как от бремени, выльет это мертвое море из себя. Он не думал — выльет на Александра, он думал только про себя, совсем не думал про чужую боль этот ребенок.

Дни закрутились быстрее, и, если бы не постоянное ожидание, они были бы счастливыми совсем, мама приносила из почты запечатанные в твердую бумагу конверты, Ян смотрел на крутящиеся пластинки в новеньком проигрывателе, танцевал вместе с просыпающимся солнцем, он часто теперь бегал через поле к Александру, и каждый раз, пробегая озеро, неслышно и нежно икал — это вспоминала о нем озерная вода, что спала, как зверек — тихо, обтянутый ледяной кожей зверь, полный зеленой водою — вот кто было это озеро. Могло ли оно так любить, так вмешиваться в судьбы? Это была прозрачная пропасть.

Из столовой выбегали девочки, вытирающие губы, отряхивающие твердые воротники, и в руках у них у всех — не доставшийся мальчикам черствый, голубиный хлеб. Девочки-воровки бежали наперегонки во двор, чтобы кормить птиц, собирать их вокруг себя бесконечными десятками.

В столовую парами, нехотя сжимая друг друга ладони, входили мальчики, рассаживались за длинные столы, замирали над теплыми тарелками, и в звенящей тишине слышен был с улицы воинственный писк:

— Я первая!

Читали молитву, скрипели стулья, звенели мухи, гремели ложки.

— Я вторая!

— Я третья!

В стаканах плескался и плавал чай.

— Я четвертая!

Ян молчал. В голубом окне рядом с ним сияло дерево и трескался асфальт. Но он не смотрел туда, и даже висевшая на перекладине вниз головой превосходная Диана не заставила его подумать о чем-то другом. Он сидел, вцепившись зубами в стакан, упертый остекленевшими глазами в воздух, и думал лишь об одном — вот и настала весна, пришло время, не совсем, но пришло — разбудить свою спящую сторону, которую, казалось бы, он навсегда забыл. Замученный этим долгим годом, как затянувшейся болезнью, как тяжелым беспорядочным сном, сидел Ян.

Александр заканчивает школу, что же будет потом, он уедет в огромный город получать ка-

кие-то высокие знания, он уедет и забудется, и больше никогда не вернется, и никто, никто не встанет на его место — впереди Яна, за спиной Яна, рядом с ним. И если ничего не получится за это время, пока Александр еще рядом, еще здесь, то — забвение и одиночество, и вечная, непрекращающаяся грусть. Ян закрыл глаза и перед всем в темноте вспыхнула белая запертая дверь, вспыхнула пустота и размытое, переполненное лицо Марики.

В этот день Ян решил тотчас же открыть Александру эту тайну, решил не останавливаться. Но вечером зима вернулась, пошел снег, и мама не пустила Яна в темноту, что крошилась и пела. И он уснул, тревожный, на ковре.

Нина села и ей стало холодно.

— Когда я хожу или смеюсь, там разговариваю... — она остановилась и быстро посмотрела на Александра, — я не чувствую холода... но стоит только окунуться в какую-то неподвижность в виде сидения или лежания, я сразу коченею. Смотри!

Она протянула ему сложенные ковшиком ладони. На мгновение эти ладони повисли в морозном воздухе, Александр не знал, что с ними делать, потом опомнился, обнял их как одеялом своими ладонями, почувствовал чужую холодную кожу, но ему стало тепло от этого.

— Да, я верю, — сказал он и отпустил эту кожу, как бумага, снова стал чувствовать ладонями лишь пустоту.

Наверное, нужно смотреть на нее все время, на эту Нину, которой холодно, ведь он разговаривает с ней, он с ней наедине, в комнате, кроме них, только мебель и лишь за стеной глухие голоса и смех других людей. Но Александр смотрел в пол, ему было стыдно от того, как он громко дышит при ней, он хотел заглушить это дыханье чем-нибудь.

— Давай включим музыку?

Нина кивнула. Она тоже не смотрела на него все время, только иногда быстро смотрела и опять не смотрела.

Оба они не знали, что столкнуло их — незнакомых — в этой пустой комнате.

Александр включил музыку и вернулся на прежнее место — на пол у ее кресла. Она держала руки у лба и волосы падали и колыхались от холодного ветра.

— Этот дом продувает насквозь. Почему такие огромные промежутки в этих стенах?

— Его плохо строили.

— А кто его строил? Куда улетела весна? Была, и сегодня, вдруг перестала.

— Не знаю.

Она выпрямилась и посмотрела на него. На закинутой шее у нее стучала венка, он посмотрел на нее тоже, только не на лицо, а на эту венку, шею вокруг, и кусочек поднимающегося подбородка.

— А что ты здесь тогда живешь?

— Не знаю.

Александр и правда не знал. Что он живет, зачем, где. Знал только, что, если открыть дверь у этого дома, можно выбежать в снег и бежать, оставлять глубочайшие следы. Но он не стал говорить ей об этом, решил, что она не поймет.

— Я когда сижу, мне холодно.

Он пропустил это повторение мимо ушей, все думал о своих следах, вот, когда так бежишь, приходится высоко закидывать ноги, получается смешно, хорошо, что она этого не видела никогда, эта Нина, как он бежит.

В этот вечер они закончили семестр, сдали все экзамены и устроили поэтому праздник, собрали все классы и еще разных знакомых, можно было сделать это в доме у Александра, ведь Вироника уехала, и зима высвистала эти стены, он хотел лежать и видеть вокруг небо. Он не простужался, он вообще ничего такого никогда не делал, только слишком громко дышал, смотрел на фотографию матери и на небо, только еще смотрел на Яна, разговаривал с ним, дружил. Да, и это она знать не должна, что он дружит с маленьким Яном, никто бы не понял их дружбы, они ведь их обоих не знают.

— Я когда сижу, мне холодно.

— Встань.

Нина встала, но ей продолжало быть холодно. Она ведь и простужалась, и все остальное делала, и кашляла, и не дышала так громко. На ней было платье с огромным цветком. И волосы у нее на руках встали дыбом, она закрывала руки, это не красиво, как у зверя, она не зверь. Она девушка, ей семнадцать лет. Она стоит и смотрит на Александра уже не быстро, так медленно, медленно, медленно, смотрит на все его лицо, стоит напротив.

Вот и на этот их праздник — разных классов кто-то пригласил эту чужую Нину. И она сама не знала, зачем пришла, надела платье такое — с цветком. Обманула маму, вылетела за дверь, бежала до остановки, и шуба у нее делилась ветром на две части, левую и правую, ветер залетал между пуговицами, кусал маленьким ртом ее подвижные ноги, колени на них и все остальное. Она бежала, схватившись обеими руками за уши шапки так, что побелели кулаки. Бежала и думала:

— Зачем я бегу?

На остановке ее подождали друзья, они поехали вместе, смеялись, и из раскрытых ртов летел пар, летел, оседал на шеях и воротниках. Подруга шептала ей своими губами, пуская этот пар, про всех юношей, многогранных, в совокупности, всех-всех в одном доме. У Нины дрожало все внутри, она любила юношей и как они двигаются, и смотреть на их руки и на вены, выпуклые и нежные, которые эти руки оплетали. В Нине смеялось ее растущее запретное существо.

Она в этот дом влетела, потеряла шубу. Она не знала, что этот дом заколдован, что он прибрежный пост, что все двери в нем выходят только в снег, в бесконечность, в ветер и больше никуда, не знала, что в этом доме Александр, что он вообще есть, что он там хозяин. Она не знала про его белое лицо и глаза, вот-вот готовые вылиться, лопнуть от своей величины и выпуклости.

Теперь — стояла, медленно смотрела на его эти глаза, водила взглядом по их контурам, напоминаям лодки, и тоже ничего не знала, боялась, но скрытое в ней существо дрожало, чувствовало за ними великий полет.

А сама Нина не знала ничего про великий полет, как ее привлекло сюда? Бедная Нина.

И Александр стоял и смотрел на нее и думал: — Ну, привет, какая-то Нина, вот ты и вpleлась.

Что неслось между ними, такие ураганы, дрожали у них ребра. Потом стало невозможно, Нина села обратно на стул. Александр продолжал стоять и все смотрел в то место, где только что Нина была, а теперь — только темный воздух и очертания предметов. Но он заметил, что Нина стала дышать так же громко, как он, перестал об этом волноваться и выключил музыку.

— Я буду изваянием, — сказал тихо он.

Она ничего не ответила, от холода у нее начала дергаться голова.

Нина натягивала платье на колени, разглаживала складки на ткани. Александр наблюдал за этим.

— Я не сдвинусь с места, пока ты снова не встанешь и не будешь опять смотреть.

— Куда?

— А куда ты смотрела до того, как села на стул?

— Я не знаю куда, не знаю, — сказала Нина сердито, встала, остекленело тронулась ее рука о его бок, когда она выходила.

Нина вышла, в коридоре горел свет, в таком беспорядке из разной одежды она закрыла лицо ладонями и так стояла спиной к двери, за кото-

рой стоял Александр и даже не двигался и даже не думал и не мечтал ни о чем.

Все это им обоим показалось очень странным, что так чуждо в огромном океане они сплылись и вот теперь волнуются, дрожат. Они с этим еще не сталкивались.

Потом Нина вышла в ту комнату, где ей показалось — тысяча людей. Подруга принеслась к ней, затягиваясь сигаретой, впервые накрывшая губы блондинка, стоявшая в профиль, протягивающая стакан вина. Нина взяла из ее руки стакан и пила, стуча зубами о стекло.

— Какой у тебя яркий принт, — сказала подруга. Бедняжка, она не обладала представлениями о красоте.

От вина губы Нины стали похожи на две раздавленные вишни. Подруга дергала подол ее платья, потом задумалась и отпустила, пальцы ее разжались, она вся ослабла и стала танцевать.

Нина трогала ладонью свои багровые губы

Нина протягивала свои багровые губы зеркалу в ванной, стояла на мокром каменном полу шептала:

— Поцелуй меня.

Закрывала глаза и подглядывала сквозь ресницы, какое у нее было лицо, глупое, глупое лицо. Она только улыбалась, в ней рождались сотни новых миров. Она только улыбалась.

А потом: Александр открывает дверь и видит Нину, бегущую по коридору, как она открывает тоже дверь, но другую, и исчезает в бесконечном снежном пространстве.

Он бежит за ней и уже смеется. Потом видит — она летит по белому полю, высоко поднимая ноги, подхватив подол платья, сжав его в кулаке, открывая покрасневшие коленки. Александр забывает про все и бежит к ней

— Эй! Еще можно раскинуть руки и побежать вообще со всей силы, — кричит Александр, и она раскидывает свои руки, и внезапно мир преобразается для них.

На порог от этой двери собрались все гости, сжались в узком желтом квадрате в очерченном кубе дома, вытягивают длинные пальцы, взбалтывая в бокалах вино, смеются, смотрят, как бегут они — Нина и Александр.

Можно поверить — они потом вернулись в этот дом, где уже заканчивался праздник, кутались в какие-то одеяла, а потом она уезжала в замерзающем такси, а он вытряхивал пепельницы. Нет, этого ничего не было.

Он падает назад, широко распахнув глаза, взбивая облако снежных кристаллов, медленно

падает в зыбучий ледяной песок, видит ее движимый контур, и потом этот контур падает рядом, и все затихает, и снежная пыль ложится на лицо, и рука в молниеносно тающем снегу ищет ее маленькую мокрую руку.

В тот вечер они все так много смеялись, что чуть не умерли.

Но выжили.

Лавина сверкающих школьников, выпавших из дверей. Ты нужна мне, как третья рука, ты нужна мне тысячей бесполезных ослепительных вещей.

— Мама, зачем луна?

— Мама, далеко ли идти?

— Мама, отчего я умею грустить?

— Мама, тебе нужно больше меня любить.

Это такой кружок — каждодневная жизнь, это красивая плоскость. Какой по счету в жизни Яна этот школьный автобус? Какого цвета у нее вода? Там, где она утонула?

А днем тихонько бежал по заблудшему снегу Ян, чтобы уж точно именно сейчас рассказать все, чтобы сегодня же — не откладывая — взломать эту комнату, взломать и открыть тайну, выпутаться самим и выпутать их — бедных. Может, в ногах кровати Марики будет тихонько сидеть мама Александра и отец его — где-то у окна, так же, как сам Александр — будет курить, подняв руку, как девушка. И все остальные там будут — невидимые дяди и тети и тот мальчик, которого в прошлом году задавил грузовик. Там будут солдаты с войны, их несправедливые начальники, не родившиеся младенчики трусливых матерей, там будут сами матери — все, не старые, а вечно, вечно, как на фотографии. И они взломают эту белую дверь в конце коридора, и Александр будет целовать их всех — бедных, бедных, уснувших. Они разбудят их своей удвоенной чистотой, своим светом.

Ян взбежал на крыльцо, солнце выплыло, все вокруг таяло и несло. Неясным змеем завился коридор, все двери открытые выпускали из себя дым, дым летел везде, под ногами шелестели бумажные стаканчики, весь пол был изрешечен пулями — это тысячи ярких бумажек лежали на нем. Ян удивлялся, заглядывал в каждую пустую дверь — в окнах солнце, беспорядок, там, где еще недавно хохотала тетя Вироника — пустота, гул, дым. Ян искал Александра — на вазах увяли спиральные бумажки, был праздник, он не ушел, витал здесь повсюду — только зажал себе сам рот ладонью, чтобы не кричать, как ночью, — только дышал и выдыхал Яну что-то чу-

жое, незнакомое, враждебное. Ян шел, озираясь, и чувствовал здесь присутствие другой души, мысли и мечтаний о ней — другой, совсем другой душе. Он нашел Александра лежащим на пустой кровати, гладко застеленной, взрослой. Александр лежал, и глаза его были как ядра, он ничего не видел.

Сначала Ян испугался, что Александр тоже уснул, как все, но потом услышал — дышал так громко, как паровоз, дышал и смотрел куда-то. Потом улыбался, не замечал присутствия друга, дрожал — открытое окно. Призраки летали. Александр сказал:

— Мне снится сон, в этом сне только лицо Нины и все, больше нет совсем ничего.

— Какая еще Нина?

Ян не понимал этого порыва Александра, лежащего перед ним на огромной, ровной, как степь, кровати. Александр лежал, не отвечал, улыбался. Так улыбаются блаженные, что ходят летом вокруг магазина. Так улыбаются старушки в церкви или совсем маленькие дети. Ян уже так не улыбается. Он хмурит брови. Александр поднял голову, посмотрел на Яна, и все провалилось. Его старший друг навеки пронзен чужим сигналом, он во вражеских руках, он уже не он, и глаза его — не его глаза, а глаза всемирной одинаковой молодой любви.

— Послушай, дружок, помоги мне убрать это все, а потом я расскажу тебе все, это невероятная история, ты еще не слышал, это невозможно услышать, это неслыханно, только здесь, — он стукнул себя ладонью в горло, — и здесь, — ударил себя в живот, — вот в этих местах расплозается такая боль, Ян, такая невероятная, вкусная, легкая страна!

Ян хотел возразить, указать на ошибку, но только молча кивнул.

— Давай я помогу тебе.

Они убрались в доме, таскали пустые бутылки на задний двор, смотрели сквозь них на солнце, мыли белые стаканчики с багровыми пятнами на доньшках, наполняли ими невесомые коробки, прятали до новых праздников, сдирали с люстр и картин мишуру, выметали мусор, полные охапки разноцветных бумажных пятнышек, птичьих следов, выгоняли птицу праздника, выветривали дымные кухни. Ян ждал — вот они закончат и можно будет наброситься на Александра, побить его, окатить водою или сразу — мертвым морем его вернуть. Переманить обратно.

Вышли на улицу — стала жара. Деревья трещали, хотели одним хлопком вдруг распустить-

ся и зацвести, им некуда больше было ждать. Александр опустил руки в ручей. Был лес.

— Смотри — первая бабочка! — сказал Александр.

Ян поднял голову и увидел свою дружицу. Она летала вокруг них — огромная и сверкающая мать. Яну показалось, что она была сердита.

— Теперь уже нельзя ждать, хотя я бы подождал еще, пока ты бы остыл и понял, что пошел по неверному пути.

— Ты хоть и поразительный, но все же ребенок, Ян. Ничего тебе не понять.

Бабочка металась вокруг. Из ручья с треском поднялась громадная мокрая стена и отделила их друг от друга. Но Ян не обратил на это внимания, он закричал через эту стену:

— Она моя сестра, когда это случилось, ей было пятнадцать, теперь на год старше, с ней что-то произошло, она перестала жить, разговаривать, она вообще перестала быть, однажды летом, я думал — навсегда, я так испугался, я был тогда еще такой глупый, мог тоже за ней убежать в ту страну сна, но папа объяснил.. ты слышишь меня?

— Да!

— Папа объяснил, Александр, что она... она всегда у нас была красавицей и за это уснула, таким особенным сном, и может вестись обратно в наш мир, только когда найдется принц, который разбудит ее поцелуем! — От того, что Ян кричал очень громко, у него голос стал горьким, рваным, он кашлял, а потом продолжал кричать: — Я так долго искал этого принца, в поле, и в небе, и в море, за деревом и в школе — среди старшекласников. Во дворах искал, в животных и насекомых. И тут я встретил тебя... ты слышишь меня?

— Да!

— Я встретил тебя и чуть не лопнул от зависти, ты и был этот принц, ты слышишь? Ты! Был и есть, и останешься вечно. Теперь ты должен пойти со мной к нам в дом, только тихо, а то там мама, мы откроем ее дверь, и она будет там, и ты поцелуешь ее, и мы возьмемся за руки, и...

Чем больше кричал Ян все это, тем больше сам понимал абсурдность этого, чем он жил все это время, что вымотало его до клеточки, что его всего испепелило. Такого не может быть — он знал, теперь-то, спустя год, глотнув настоящего жизненного нектара, он знал, что такого не бывает. Не бывает. И он засмеялся. И Александр, там, за стеной, засмеялся тоже. А потом стена упала, выросла обратно в ручей. Но Ян вдруг накинудся на друга своего, как маленький зверь, вцепился ему в воротник, повис:

— Я не могу больше ждать, это последние дни моего терпения, помоги мне, разбуди ее, разбуди!

Александр сидел, отодвинувши лицо, закинув его своей шеей далеко от Яна, вцепившегося в его воротник, от кипевших глаз Яна, от его растянувшегося, сухого, красного рта.

— Пойдем, пойдем, ты мой единственный друг, ты уедешь, и всё рассыплется и ничего больше не будет.

— Нет, не сегодня, я пока не готов, у меня недостаточно сил, я думаю о другом.

— Ты думаешь не о другом, а о другой! О, какой ты дурак, Александр!

Ян отпустил его, и руки Яна упали, заплакав и устав.

— Ну что ты, я имею право, я.

— Она не волшебная. А я хотел показать тебе — волшебную, волшебное всё. А ты — дурак, что тебе глаза этой Нины, сердце этой Нины, что тебе — кожа этой Нины. Эта Нина — серпантин. А я останусь один, совсем, навсегда.

Было очень сложно объяснить этому чудовищному, прекрасному ребенку абсурдность и тщетность главной его цели, это было невозможно, это была бы черта на нем, безжалостный крест на его ожесточенной маленькой жизни. Александр не сделал этого сейчас, он просто тихим движеньем оттолкнул от себя Яна, он смотрел на шатающееся его маленькое тело и понимал — этого никогда не сделать. И просто сбегать — слишком жестоко. Александр чувствовал злость — он во власти этого маленького человека, он чувствовал слабость — одна мечта делает Яна сильнее, чем он, в сотни раз. Александр не мог уйти.

— А ты знаешь, Ян, про родителей я тебе наврал. Вироника — моя настоящая мать, вот и все. А теперь пойдем — и твою мечту разобьем, чтобы спокойно жить и любить настоящих, живых людей. А хотя знаешь — давай пойдем вечером — мне нужно совершить одну ошибку. Нет, мы сделаем завтра утром. А теперь иди домой, маленький зверь — иди и плачь, плачь заранее. Много плачь.

Ян остался один у ручья. Он не плакал, он снял ботинки и опустил ноги в воду. Так сидел, и спину его целовало солнце. Бабочка села ему на голову. Все молчали.

Сижу, освещаемая, брошенная. Знаешь, о чем я сегодня молилась? Я говорю — я бы дралась с дьяволом на цирковой арене и убила бы

его, а потом стояла, осыпанная блестками, ненавистная Александру. Сегодня он сказал — выпей эту воду из стакана и забудь меня, мое лицо, выпей эту воду или вылей ее на меня. Я стояла, и вдруг эта вода вся вылилась у меня из глаз. Он был у окна и не думал даже смотреть на меня, страшная печать лежала на его лице, ему был поставлен какой-то тайный укол.

А потом, когда я спала, я видела — бросаюсь к его ноге и обнимаю ногу его.

Так говорила Нина своей подруге, уронив руки на колени. Вчера Александр отградил ее от себя совсем и окончательно, вчера Александр заболел, окаменел. Она не знала, что он всю ночь лежал, обняв руками колени, обдуваем всем ветром, и высоко, жалобно плакал. Она не знала, как предвкушал и улыбался, засыпая, Ян. Она не знала, как по полю бежала собака и исчезла за деревьями. Она не знала, как на асфаль-

товой дороге, ведущей в город, умер голубь и сквозь черный тающий снег неподалеку пробились первые цветы. Свистал ветер, кружились птицы, руки Нины лежали на натянутой ткани между коленями.

А утром мама Яна вышла, вдохнула воздух и оставила дома шаль — впервые после зимы она вышла в одном платье, сорвала сухую травинку, двигался в желтом колышущемся поле ее красивый силуэт.

По небу летят облака, середина апреля, все окна дома открыты, она подходит к озеру и видит, как у него стоят Ян и его друг — Александр — опустив головы, они смотрят в его воду. Мама улыбается.

Они останутся вечно — мечтающие дети, застывшие над прозрачной пропастью.